

© К.О. Гусарова

**“НАСУЩНАЯ ПИЩА ПРОЛЕТАРИАТА”: КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СССР 1920-х годов**

*Ключевые слова:* пролетарская культура, групповая идентичность, дискурсивное производство общности, пищевые метафоры

В статье прослеживается изменение на протяжении 1920-х гг. представлений о пище как основе пролетарской идентичности. “Рабочий класс” рассматривается при этом как воображаемая общность, конструирование которой лишь предстояло осуществить. Реальный рацион в качестве объединяющего основания оказывался менее эффективным, чем пищевые метафоры, описывавшие культурное потребление. Создание общности осуществлялось в значительной степени за счет противопоставления “своих” и “чужих”, и метафорический язык позволял более четко провести границы и в то же время сгладить возможные внутренние противоречия. Замещение фактической еды “культурной пищей” происходило не только в публицистических текстах, но и в повседневной действительности, что мы рассмотрим на примере культурной работы в обеденный перерыв.

Культурная память многих жителей постсоветского пространства, непроизвольно воспроизводя определенные идеологические штампы, способствует восприятию слова “пролетарий” в качестве обозначения некоей объективной данности. В современном постиндустриальном обществе это понятие может звучать несколько архаично, как отсылка к отжившему историческому типу, однако от этого его наполнение не становится менее реальным.

Обыденность подобного словоупотребления, бытовавшего на протяжении почти века, способна укрыть от внимания высокую абстрактность, изначально присущую этому понятию при его переносе на отечественную почву. В первые десятилетия XX в. разнообразие укладов жизни внутри российского пролетариата было еще слишком велико, чтобы говорить о некоей общности. Настоящая пропасть разделяла высококвалифицированных мастеров и разнорабочих; меньшие, но все же существенные различия характеризовали трудящихся разных отраслей промышленности – более и менее механизированных, “мужских” и “женских” производств. Условия труда и его оплата, уровень образования, способы проведения досуга, семейный быт могли варьировать весьма значительно.

Эмпирическое выявление “пролетариев” и их выделение в особый слой более всего осложнялось размытостью границ с крестьянством. Для многих трудовая деятельность в городах носила сезонный характер, и даже если рабочий был постоянно занят на производстве, его семья зачастую оставалась в деревне. По оценке работника Коломенского машиностроительного завода, данной в конце 1920-х гг., “у нас рабочих, связанных с крестьянством, – 80%” (Культурная работа... 1929: 4). Скорее всего, речь здесь идет в буквальном смысле о родственных связях и занятости в сельском хозяйстве, однако влияние деревни существовало в первую очередь на уровне символических форм. Городские жители в первом поколении, даже при отсутствии прямых взаимодействий с крестьянской общиной, из которой они вышли, неизбежно несли с собой свойственную ей культуру: нормы поведения, традиции, систему ценностей и представлений.

В сравнении с крестьянством разнородный и разобщенный пролетариат, таким образом, представлял собой скорее теоретическую конструкцию. Сама динамичность городской жизни препятствовала складыванию устойчивых культурных форм, которые существовали в деревне. Между тем реальность существования рабочего класса как единого целого, с общими интересами и устремлениями, имела первостепенное значение для легитимации власти, установившейся в России после 1917 г. Недостаток очевидных оснований для объединения с особой остротой ставил вопрос о механизмах производства групповой идентичности (в марксистской терминологии – “классового сознания”).

После установления советской власти понимание пролетариев как обездоленных, лишенных права собственности должно было уйти в прошлое. Ключевым для нового определения становилось участие в промышленном производстве. Коллективный труд был призван сплотить рабочих, помочь им изжить индивидуалистические побуждения, а операции с механизмами – способствовать выработке совершенных техник тела. Телесная дисциплина трудящихся промышленных предприятий дала толчок к развитию биомеханики и легла в основу советского антропологического проекта “нового человека”.

Однако участие в производстве предопределяло преимущественно внешние параметры принадлежности к пролетариату, в то время как характеризующие эту общность традиции и ритуалы лишь предстояло изобрести. За основу нередко брались реальные практики, бытовавшие в рабочей среде, для выявления которых в 1920-е гг. проводились всевозможные опросы и анкетирования (*Шафир* 1927; *Смушкова* 1926; *Хлебцевич* 1927; *Рабочие о литературе...* 1926 и др.). Полученный таким образом “сырой материал” следовало переосмыслить в идеологическом ключе и соответствующим образом описать, в первую очередь подчеркнув “истинно пролетарскую” сущность избранных культурных предпочтений и повседневных обыкновений. Сконструированная на уровне языка общность рабочих и соответствующая ей идентичность со временем обретали все более плотные, осязаемые контуры в социальной реальности, способствуя реструктурированию последней.

#### ***Пищевые метафоры как инструмент формирования идентичности.***

В 1920-е гг. на страницах советской периодической печати и в специальных брошюрах осуществляются попытки определить границы пролетарской культуры и выделить чужеродные ей элементы. При этом в качестве инструмента идеологической риторики активно используются аналогии и метафоры, связанные с употреблением пищи. Они присутствуют в цитируемых ответах многих респондентов анкет, а еще чаще встречаются в обрамляющих их комментариях авторов-составителей статей и сборников. Культурная продукция и разнообразные знания отождествляются с едой (“пища”, “хлеб”, “яства”, “лакомое блюдо”), ее потребление описывается как “разжевывание” и “переваривание” и может вызывать “отрыжку”, среди реципиентов встречаются “гастрономы”, т.е. гурманы (*Культработа...* 1929; *Рабочие о литературе...* 1926; *Сосновский* 1926 и др.).

Некоторые из этих выражений, например “под соусом” в значении “под видом”, “под предлогом”, закрепились в языке в качестве метафор, утратив непосредственную связь с идеей питания. Другие сравнения (“меню”, “рецепт из поваренной книги”) звучали достаточно неожиданно и очевидно были призваны дополнить ряд избитых пищевых аналогий (*Культработа...* 1929: 20; *Рабочие о литературе...* 1926: 115). Таким образом, изобилие подобных риторических фигур в публицистике 1920-х гг. едва ли можно назвать случайным, речь идет не просто о произвольном наборе клише, кочевавших из статьи в статью, а о более или менее продуманной языковой стратегии. Следует отметить также почти полное отсутствие пищевых метафор в инструкциях и других текстах скорее “технического” характера, содержащих, к примеру, указания по устройству рабочих клубов и проведению культурно-массовых мероприятий. Область использования, ограниченная остро полемическими текстами и декларациями убеж-

дений, свидетельствует о высокой идеологической нагруженности вышеназванных выражений и их особой роли в производстве пролетарской идентичности.

В данной статье я рассмотрю возможные истоки пищевой метафоры и ее значение в советской публицистике 1920-х гг.

Общность пролетариата конструировалась в значительной степени при помощи противопоставлений. Среди них можно условно выделить антитезы трех типов. Первый, социальный, в наиболее чистом виде являет оппозицию “свое – чужое”: рабочие противопоставляются буржуазии. Оба класса характеризуются специфическими пищевыми предпочтениями в прямом и переносном смысле. При этом буржуазная гастрономия обычно принимается за данность, а пролетарская пища описывается от противного. Другой тип предполагает соотнесение советских рабочих с трудящимися Европы: первые могут “создать цельную коммунистическую психическую установку, которую не будут ослаблять буржуазные пережитки. Для западно-европейского пролетариата, который теснее связан с жизнью буржуазии, который пользуется крохами с ее стола, это будет гораздо труднее” (Рабочие о литературе... 1926: 103). Наконец, третий тип основан на противопоставлении дореволюционного и советского периодов, в первую очередь с точки зрения условий жизни и труда рабочих, открытых для них возможностей.

**Идеологический смысл реальной пищи.** Доминировавшее в советской культуре материалистическое мировоззрение способствовало строгому ранжированию потребностей, в соответствии с которым оценивались и социальные достижения нового государства. В этом контексте часты упоминания пищи в прямом смысле: рабочих в СССР предположительно отличали от их европейских собратьев, как и от дореволюционного пролетариата, в первую очередь возможность есть досыта и качественное превосходство рациона. В заметке о визите советской футбольной команды в Германию в 1925 г. популярный журналист Абрам Аграновский приводил красноречивый показатель угнетенности немецких трудящихся: выяснялось, что они едят мясо лишь раз в неделю (Цит. по: *Сосновский* 1926: 17–21). Контрастные данные о потреблении мясных блюд советским пролетариатом в тексте не представлены, изобилие передано косвенно, через недоверчивое удивление, которым футболисты СССР встречают рассказы команды хозяев. Автор и герои статьи больше всего возмущены тем, что скудный рацион немцев обусловлен не только низким уровнем оплаты труда, но и сознательной экономией на продуктах питания с целью приобрести, например, такую “бесполезную” вещь, как парадный галстук.

Радикальная “культуроборческая” позиция Аграновского, призывавшего отвергнуть все знаки утонченности в облике и поведении, элементарные правила вежливости и даже этические нормы, которые он рассматривал как рычаги контроля в руках буржуазии, встретила отпор другого известного публициста, Льва Сосновского. В своей программной статье “О культуре и мещанстве” он стремился выявить общечеловеческий характер ряда “буржуазных” ценностей и предостерегал против люмпенизации идеи пролетарской культуры. “Стремление получше одеться вполне нормально, – уверял Л. Сосновский, замечая: – у нас точно так же поголовно все считают необходимым завести себе праздничный чистый костюм, хотя бы пришлось для этого урезать питание” (*Сосновский* 1926: 35, 28). Полемика двух журналистов вызвала многочисленные читательские отклики, ряд которых Л. Сосновский издал отдельной брошюрой вместе со статьей оппонента и своей собственной.

Примечательно, что и противники, и защитники галстуков неизменно описывали пополнение гардероба и другие подобные траты как совершаемые “за счет мяса”. Причем тот же Л. Сосновский признавал, что для самих рабочих иерархия потребностей может выглядеть по-иному: “Пройдитесь по фабрикам, где работают девушки. По средствам ли им те востроносые башмачки и прозрачные чулочки, которыми они шеголяют? Не лучше ли на эти деньги купить мяса? Попробуйте предложить работ-

нице вместо туфель мясо!” (Там же: 28–29). Однако уже то, что такой выбор нуждался в оправдании, показывает, сколь высокое значение придавалось потреблению мясной пищи. Основанный на ней рацион, очевидно, рассматривался как привилегия пролетария в молодом советском государстве в соответствии с принципом “каждому – по его труду”. В этом качестве пища становилась фундаментом для объединения трудящихся различных производств и уровней квалификации, повседневно-приземленным и в то же время имеющим символическое измерение.

Примечательно, однако, что в публицистике и литературе, кинематографе и изобразительном искусстве 1920-х гг. еда для рабочих почти всегда лишь подразумевалась, но не демонстрировалась и не описывалась напрямую. Стремление показать трудящихся сытыми упиралось в то, что место “едока” в визуальном воображении современников было занято.

**Еда и образы эксплуатации.** На рубеже XIX–XX вв. в Европе, а затем и в Америке получила широкое распространение листовка, аллегорически изображавшая устройство капиталистического общества. Оно было представлено в виде многоярусной конструкции, основание которой покоилось на плечах пролетариата, а выше размещались социальные группы и институты (правительство, армия, церковь), воплощавшие идею угнетения. Уровень непосредственно над рабочими занимал стол, вокруг которого пировали представители господствующих классов, подпись на краю платформы гласила: “Мы едим за вас”. При этом телесный облик и жесты персонажей на разных ярусах довольно схожи, различительное значение имеют лишь костюм и атрибутика, а также, конечно, само положение на пирамиде. Впоследствии подобные “универсальные” тела были вытеснены в визуальной пропаганде такими, которые недвусмысленно прочитывались бы независимо от контекста.

Схематизация антропологических типов “худого” и “толстого” представляется универсальным приемом противопоставления бедных и богатых, пересекающим границы культур и эпох. При этом подобный контраст, в зависимости от точки зрения, мог иметь социально критический смысл, а мог, напротив, служить для разграничения нормального и маргинального, играя важную роль в самопрезентации элит. Так, анализируя облик знати в допетровской Руси, Р.М. Кирсанова отмечает, что “боярин непременно должен был отличаться дородством”, что подчеркивалось, а иногда и имитировалось, при помощи деталей костюма (Кирсанова 2002: 13–14, 19).

В советской культуре образ тучного эксплуататора получил наиболее последовательное воплощение: в плакате, начиная с “Окон сатиры РОСТА”, в агитационных стихах и публицистике полнота – отличительная характеристика представителей старорежимного господствующего класса (помещиков, попов, царских генералов), нэпманов и западных капиталистов. Важную роль играл кинематограф, позволявший показать сам процесс поедания пищи, оттеняя тем самым уже устоявшиеся смыслы фигуры “толстяка” или прибавляя новые: “Часто режиссеры дают этим персонажам еду, которую те сосут (лимоны, виноград, устрицы и т.д.), прямо реализуя образ вампиров” (Булгакова 2005: 155). Изображения и описания еды оказывались прочно включены в механизмы пробуждения таких эмоций, как отвращение и страх, и в то же время могли использоваться для создания комического эффекта. Выработать альтернативу этим достаточно мощным выразительным языкам было непросто, поэтому о мясном рационе советских пролетариев оставалось говорить экивоками.

В противовес этому культурная пища для рабочих оказывается в центре внимания публицистов и рассматривается со всех сторон. Как представляется, выбор метафоры был отчасти продиктован логикой своеобразной компенсации: разговоры о еде как таковой были осложнены вышеупомянутыми негативными коннотациями фигуры едока; кроме того, продовольственная ситуация в стране была в действительности далека от желаемого, составляя достаточно щекотливую и болезненную тему. Совсем уйти от этой проблематики было также нельзя, учитывая ее центральное значение для ряда

идеологических конструкций и невозможность осуществить что бы то ни было “за счет” питания. “Пища” как развернутая метафора позволяла до определенной степени отвлечь внимание от продовольственных затруднений, не требуя пересмотра представлений об иерархии потребностей.

Говоря о пище в переносном смысле, публицисты 1920-х гг. невольно обнаруживали амбивалентность своего материализма: телесные нужды образовывали смысловой центр этой риторики и в то же время оказывались лишь маской для поиска ценностных ориентиров. Очевидно, что подобное метафорическое словоупотребление восходит к выражению “духовная пища”, которое, в свою очередь, имеет христианские корни. “Духовности” не было места в секуляризованном лексиконе эпохи, ей на смену пришли “культурные потребности”, удовлетворять которые следовало во вторую очередь, после непосредственных физических надобностей. Подобное расположение запросов предполагало не только их жесткую иерархию, но и автоматический переход от одного уровня к другому при удовлетворении всех нужд одного типа. Метафорика культуры-пищи, сближая глубоко различающиеся потребности за счет аналогии, способствовала камуфлированию пропасти между ними, существование которой признавалось и осмыслялось как проблема рядом авторов уже в 1920-е гг.

**Дидактика пищевых метафор.** Потребление культурной пищи понятным образом вписывалось в ту же систему оппозиций, что и еда как таковая. Противопоставление прошлого и современности акцентировало внимание на возможностях, открывшихся рабочим после революции, доступе к прежде недостижимым благам. Западноевропейский пролетариат в этом смысле являл уже пройденную отечественными трудящимися фазу развития, находясь в зависимом положении, в том числе с точки зрения выбора “пищи”. Наконец, ключевое значение имела антитеза пролетарского и буржуазного, причем представления о культуре рабочих зачастую рождались в этом противопоставлении.

Базовое отличие классово чуждой пищи – ее “неестественность”. Буржуазные произведения искусства, музыки, литературы описываются как сомнительный деликатес, чаще всего с нестерпимо сладким вкусом. Рецензируя работы современников, критики периода нэпа нередко прибегали к подобной характеристике в качестве решающего аргумента. Весьма показателен следующий отзыв на спектакль “Стенька Разин” в Театре Революции: “Первый грех постановщика в том, что он обсахарил эту [народную. – К.Г.] стихию, особенно же ее вождя. [О]на подана с красотью, здесь трудно выносимой: и костюмы, и свет, и музыкальная сторона – все это подслащивает постановку до оперного стиля” (Рудин 1924: 10). В этом высказывании отражены любопытные представления об отношении формы к содержанию художественного произведения: с одной стороны, уподобляясь сахарной пудре или глазури (“обсахарил”, “подслащивает”), она выступает как нечто внешнее и добавочное, с другой – в конечном продукте форма и содержание сливаются и сладость уже неотделима от яства.

Эта и аналогичные ей метафоры призваны были донести до читателя мысль о том, что “питательно” лишь содержание. Первостепенной значимостью наделялось сообщение, заключенное в художественном произведении, и оно должно было дойти до адресата без помех. Такой подход был обусловлен ставкой на обучающую функцию искусства, которое призвано было стать важнейшим инструментом формирования классового сознания и органом трансляции идеологических установок. Культурная продукция, отвечающая этим задачам, называлась “насушной пищей” или “хлебом”, и именно ее потребление должно было составить основу рациона трудящихся. Однако, как показывает лозунг “Искусство было лакомым блюдом буржуазии; искусство станет насущной пищей пролетариата” (Рабочий зритель 1924: 11), определяющее значение все же придавалось характеристикам “едока”: сознательный рабочий был предположительно способен обратить себе на пользу любое кушанье. При этом имен-

но в процессе отбора правильной пищи создавалась и поддерживалась воображаемая общность – подпитывалась сама идея “пролетарского”.

Если рабочий, по выражению К.С. Станиславского, “голоден духовным голодом и хочет простой питательной пищи для души” (*Станиславский* 1983: 407), то буржуазный зритель или читатель видит в еде источник чувственного удовольствия, он лакомится и смакует. Вкусовые характеристики избираемой им пищи призваны подчеркнуть такое впечатление, в этом смысле важна и сладость сама по себе, и то, что чаще всего она описывается как чрезмерная. Приторные или же слишком острые, пряные блюда передают пресыщенность едока, восприятие которого притуплено, однако он не перестает стремиться к новым ощущениям. Некоторые вкусы, например кисло-сладкий, могли служить отсылкой к употреблению испортившейся пищи в качестве декадентского жеста или в силу неспособности отличить здоровое от больного. Гедонистическая телесность, образ которой создается в описаниях стратегий буржуазного культурного потребления, имплицитно несет в себе идею разложения материи.

Иногда духовная пища напрямую называется “несвежей”. Так, Л. Сосновский обрушивается на вульгарный материализм одного из своих оппонентов: “Тут только пахнет каким-то сходством с марксизмом, но только очень дурно пахнет. Есть запах у свежего продукта, и есть запах у протухшего продукта. Марксизм рабфаковца Стасевича дурно пахнет гнилью” (*Сосновский* 1926: 64). Неспособность к различению, обычно приписываемая буржуа, здесь характеризует представителя рабочего класса. Этот полемический прием, призванный дискредитировать противника, как представляется, обнажает один из механизмов формирования пролетарской идентичности.

Упомянутый ранее путь, предусматривавший самоопределение советского пролетариата за счет противопоставления Другому, означал не просто очерчивание границ воображаемой общности (исторических, территориальных, социальных) и их постоянное акцентирование. Не соответствовавшие идеальной теоретической конструкции черты, наблюдаемые у реальных рабочих, выносились вовне, превращаясь в характеристики антагонистов – прежде всего “буржуев”. Хотя и в описаниях дореволюционной ситуации или положения трудящихся на Западе также нередко прочитывается рефлексия непосредственно переживаемых обстоятельности. Таким образом, следовало бы говорить не о наделении отдельных “девиантных” пролетариев “буржуазными аппетитами”, а напротив, о формировании представлений о последних на основе распространенных у рабочих качеств, которые считалось необходимым искоренить.

Как уже было сказано, одной из главных мишеней критики оказывалась всеядность: неразличение съедобного и несъедобного, качественного и некачественного, реальной пищи и метафорической. Такой вкус – “не отличающий театр от кабаре и ресторана, а ресторан и кабаре от театра” – мог называться “буржуазным” (*Диамант* 1924: 17), “нэпманским” или “мещанским”: “Мещанин, или лавочник, или капиталист пришел в театр. <...> Для него театр – добавление к удовольствию от еды” (*Городецкий* 1923: 9). Однако, по сути, речь шла о том, чтобы произвести разграничение и выстроить иерархию потребностей для самих рабочих.

Не только вкусы и интересы отдельных трудящихся, но вся культура периода нэпа представляла пестрым смешением стилей и регистров. Однако наибольшую проблему представляла неоднородность самого рабочего класса, о которой говорилось в начале статьи, – именно в связанном с этим беспокойстве, вероятно, следует усматривать корень соответствующей образности. Так, публицист, писавший о том, что “западная буржуазная культура похожа на слоеный пирог”, в котором перемежаются питательные и отравляющие элементы (*Сосновский* 1926: 95), мог подсознательно реагировать на разобщенность отечественного пролетариата и идейную отсталость многих его представителей.

Прямая критика рабочих звучит в 1920-е гг. со страниц печати значительно реже, и, как правило, акцент при этом переносится на негативное влияние среды – например, на то, что рабочий быт окружен “морем дурманной музыки, которая целиком является наследием старого строя” (Рабочие о литературе... 1926: 83). Новая экономическая политика, создававшая условия для гедонистически ориентированного неразборчивого потребления, с самого момента ее введения служила мишенью для постоянных нападков. Корреспондент журнала “Экран” в 1921 г. с негодованием отмечал: “Москва пестрит афишами. Вместе с гастрономическими лавочками открылись лавочки театральные. И их витрины – все московские заборы – полны лакомыми кусками” (Цит. по: *Лебедева* 2007: 224). Подобные искушения, живописуемые журналистами, позволяли до некоторой степени оправдать соблазненных пролетариев. И лишь возникновение прямого конфликта личного характера или особенно острого полемического столкновения (как в случае Сосновского и Стасевича) могло привести к обвинению конкретных рабочих в гурманстве или всеядности.

**Культурная пища и самосознание рабочих.** Большинство авторов, затрагивавших тематику культурной пищи, напротив, стремились подчеркнуть устойчивость пролетариата к кулинарным соблазнам: «Рабочего со всех сторон потчуют сомнительной музыкально-театральной пищей, но инстинктивно он тянется к классово-здоровой, хоть и грубой, быть может, с точки зрения “гастрономов” пище» (Рабочие о литературе... 1926: 89). Представления о прирожденном классовом чутье трудящихся, которое давало бы им возможность высказывать единственно верные суждения о литературе и искусстве, маскировали отсутствие продуманной культурной политики и позволяли уйти от ответственности за ее выработку. С другой стороны, преуменьшая собственную роль высказываниями такого рода, профессиональные интеллектуалы сохраняли простор для манипуляции общественным мнением, исподволь навязывая читателям свое понимание пролетариата и его нужд.

Для самих трудящихся провозглашение их авангардом культуры также имело неоднозначные последствия. Опубликованные данные опросов, проводившихся с использованием качественного подхода, письма в редакции журналов и газет и другие источники, позволяющие услышать голоса рабочих, выявляют во многом противоречивую картину. Отчетливо выделяются реплики лиц, в которых можно усмотреть прототип булгаковского Шарикова, – усвоивших базовый идеологический жаргон и ощущающих себя, в соответствии с официальными заявлениями, новыми хозяевами жизни. Созданные пропагандой образы Другого для них находят прямое воплощение в действительности, давая толчок к агрессивным проявлениям. Приведем характерное сообщение одного уральского рабочего: “За соблюдение самых элементарных гигиенических правил приходится быть причисленным к лику мещан. Так, например, я знаю случай, когда одному товарищу не давали проходу за то, что выводил пятна из одежды очищенным бензином и всегда чистил зубы после еды” (*Сосновский* 1926: 45).

В то же время большинство респондентов, высказываясь о своих предпочтениях и интересах, так или иначе соотносили себя с некой общностью. И хотя смысл, вкладываемый ими в слово “мы”, мог существенно различаться, очевидно, что частичное делегирование рабочим ответственности за культурную жизнь страны оказывалось весьма продуктивным для формирования групповой идентичности. При этом объединение осуществлялось именно на основании потребляемой “насушной пищи”, нередко с использованием соответствующей фразеологии. Так, работница фабрики Московшвей № 10 высказывалась о пользе просветительских выступлений и их предпочтительном содержании: “По-моему, надо читать лекции преимущественно по медицине, это так же необходимо для нас, как хлеб” (*Культработа*... 1929: 19).

Из контекста легко понять значение местоимения “мы”: оно замещает выражение “наши работницы”, т.е. речь идет о “частичной”, локальной общности, для которой гендерная идентичность, возможно, первична, или по крайней мере не менее важна,

чем классовая. Ключевое значение имеет также принадлежность к конкретному предприятю, что характерно для большинства писем и отзывов. Сами предпочтения не лишены гендерной специфики: женщины чаще проявляли интерес к вопросам медицины и гигиены (Смушкова 1926: 9), в то время как для мужчин характерно равнодушно-враждебное отношение к этой проблематике, в особенности к широко распространенным в 1920-е гг. беседам о профилактике венерических заболеваний.

Однако в целом научно-популярные сведения занимают одну из лидирующих позиций в перечне интересов трудящихся, успешно конкурируя с музыкальной эстрадой, спектаклями и кино. По словам одного респондента, “рабочему хочется послушать какое-нибудь ученое слово, только не из области санпросвета” (Культработа... 1929: 19). Здесь примечательно стремление высказаться от лица всего пролетариата. Таким образом, к концу 1920-х гг. подобная самоидентификация уже осуществлялась рядом трудящихся. С другой стороны, анкетиремый исключает – вероятно, невольно – из этой, казалось бы, универсальной общности женщин: и грамматически (во всех опубликованных ответах этого человека в качестве субъекта неизменно фигурирует “рабочий”), и содержательно, пренебрегая основным предметом их интереса.

Вовлечение рабочих в интеллектуальные занятия, например в движение рабкоров, могло приводить к дроблению еще не сцементированной пролетарской общности, росту напряженности внутри нее. Люди, стремящиеся получить образование, порой вызывали резкое осуждение, как “карьеристы, желающие приобрести знания и уйти от физического труда” (Сосновский 1926: 45). В то же время отказ от активного самостоятельного познания накладывал значительные ограничения на возможность выработки пролетарской идентичности самими рабочими, оставляя им лишь выбор принять или отвергнуть смыслы, придуманные для них другими.

**Пища и идея естественности.** Показательно, что такие привносимые извне определения крайне редко обращались к ценности образования. Напротив, приписывая пролетариату “великий инстинкт культуры” (Тугендхольд 1987: 226) и представляя выбор “правильной пищи” безошибочным интуитивным действием, интеллектуалы апеллировали к идее “естественности”, игравшей ключевую роль в культуре XIX в. По мысли Ролана Барта, опора на это понятие характеризует буржуазную идеологию, которая таким образом “превращает [...] Историю в Природу” (Барт 2000: 268), т.е. подменяет анализ явлений в их динамике описанием существующего мирового порядка как само собой разумеющегося и неизменного. Прославление классовых инстинктов пролетариата, очевидно, полностью вписывается в эту риторику, блокирующую развитие и способствующую сохранению status quo. Образность, связанная с понятием естественного, была многообразна, и значения ее различны. Так, например, представление о “стихии” рабочих масс могло привлекать литераторов и деятелей искусства с эстетической точки зрения. Поэтому едва ли следует усматривать здесь сознательное желание интеллектуалов сохранить за собой элитарные позиции и монополию на производство знания. Однако намеренно или непроизвольно они создали язык, закреплявший и поддерживавший такое положение, и пищеварительные метафоры были его неотъемлемой частью.

**Культработа в обед: вытеснение реальной пищи.** Одной из инициатив, которым приписывался стихийный характер, стала организация во второй половине 1920-х гг. культуры на предприятии во время обеденного перерыва. Эта идея интересна тем, что предполагает одновременное потребление реальной и метафорической пищи, причем вторая может потенциально замещать первую. Между тем в начале статьи видно, как несогласные во всем прочем авторы сходились во взгляде на полноценный рацион с преобладанием мяса: в нем видели одно из основополагающих прав советского пролетария, требовавшее неукоснительного соблюдения. Обыкновение экономить на еде, чтобы приобрести предметы одежды (модные вещи, атрибуты праздничного наряда)

или позволить себе определенные формы досуга, нуждалось в оправдании или же считалось совершенно недопустимым.

Посещение культурно-массовых мероприятий в обеденный перерыв предполагало аналогичные жертвы в отношении времени, отведенного на прием пищи. В отзывах рабочих фиксируется фактическое вытеснение реальной еды, однако оценивается оно скорее положительно: “В нашем цехе рабочие очень интересуются постановками в обеденный перерыв. Они лучше не поедят, а пойдут на постановку”; “Когда нам говорят, что сегодня в обеденный перерыв живая газета, то рабочие не едят, а бегут скорее на живую газету” (Культработа... 1929: 24, 25). Негативные отклики, в свою очередь, не затрагивали проблему подмены, т.е. организации досуга в ущерб питанию, а оперировали иными доводами, зачастую прибегая к авторитету науки: “С медицинской точки зрения всякая лишняя мозговая нагрузка в обед вредна для организма, об этом спорить не приходится” (Там же: 3). Очевидно, что всего за несколько лет произошла радикальная смена приоритетов и отказ от образа рабочего, в основе которого лежали физические потребности. Как представляется, переход к менее “телесному” пониманию пролетариата был осуществлен в значительной степени при помощи метафор, в которых идея питания одновременно сохранялась и преобразовалась.

### *Переосмысление производства как основы пролетарской идентичности.*

Культработа в обеденный перерыв отодвигала на второй план не только еду, но, парадоксальным образом, и сам производственный процесс. Рабочие, отмечавшие подобные тенденции, отзывались о них негативно: “У нас даже замечаются такие случаи, что если кто-нибудь хочет пойти на живую газету, то он заранее обедает у своего станка во время работы, а в обеденный перерыв идет в клуб” (Культработа... 1929: 3). Таким образом, время для посещения мероприятий вычиталось в конечном счете не из приема пищи, а из самого рабочего дня. Наряду с подобным опосредованным ущербом, культпросвет мог мешать работе предприятий и напрямую: “Рабочие после живой газеты или кино часто запаздывают на работу, а от этого падает производство. Кроме того, часто отходят от машин поделиться впечатлениями о том, что видели, и уже не интересуются производством” (Там же).

Казалось бы, в этой ситуации идентичность пролетария, неразрывно связанная с идеей труда и задачами производства, оказывается под угрозой. Однако вместо того, чтобы немедленно свернуть вредное начинание, его стремятся развить и подвести под него научно-методическую базу. Восторженные интонации организаторов культурно-массовых мероприятий: “Сплошь да рядом у станка – разговоры о театре!” (Блинков 1924: 5), – резко контрастируют с оценкой тех же тенденций в отзывах рабочих.

Подобно тому как реальная пища замещалась метафорической, прямое участие в производстве уступало место символическому трудовому усилию. Неслучаен термин “культработа”, нередко сокращаемый в текстах тематических брошюр до простого “работа”. С одной стороны, он обозначает деятельность организаторов мероприятий, зачастую совмещающих эти занятия с участием в производстве или сменивших одно на другое и нуждающихся в легитимации подобного “карьеристского” шага. С другой стороны, это характеристика зрительского восприятия, которое должно быть активным, осознанным и творческим. В этом качестве такая “работа” оказывалась даже важнее физического труда с точки зрения формирования и поддержания пролетарской общности, так как способствовала ее выражению на уровне языка.

Некоторые авторы выступали за проведение культработы непосредственно в цеху, аргументируя это тем, что “в своей среде, в привычной обстановке, рабочие задают много вопросов, выступают в прениях и вообще проявляют больше инициативы” (Культработа... 1929: 13). Способность к символическому производству оказывается здесь заключенной в самом пространстве реального физического труда, что дополнительно сближает эти виды деятельности. Потребление культурной пищи предстает, таким образом, как ее переработка, пропускание через механизмы завода – коллектив-

ного субъекта. К работе аппарата отсылают лексика и образность, характеризующие взаимодействие пролетариата с различными аспектами интеллектуальной, художественной и повседневной жизни: “Исподволь и постепенно новая общественность точит религию, старый семейный быт, предрассудки, мещанство” (Рабочие о литературе... 1926: 103); “[наука уже] захвачена зубчатым колесом пролетарского государства” (Там же: 116).

Идея общности была ключевой для эффективного функционирования рабочего “едока”: “Использовать буржуазное наследство в искусстве может только пролетариат, как класс, только рабочая масса” (Там же: 101). По сравнению с механизированным коллективным субъектом отдельные индивиды потребляли культурную пищу заводом более физиологично и не могли “переварить” вредных ингредиентов. Выявляя чужеродные элементы в литературе, искусстве и быту, публицисты именовали их “отрыжкой” отживших представлений и практик (Сосновский 1926: 35, 87).

Из-за отсутствия оснований для выработки единства рабочему нечего было противопоставить гастрономическим искусствам, которые были обращены к его телесной, чувственной природе. Подобное отнесение к миру органики (в отличие от “неорганического” трудового коллектива) подразумевало включение в пищевые цепи: едок сам мог быть съеден. В первую очередь так характеризовались трудящиеся Западной Европы, непосредственно “откармливаемые” буржуазией. Порой речь идет даже не о кормлении, а о “фаршировке”. Тем самым подчеркивается пассивность пролетариев, их неспособность в этой ситуации переработать нездоровую пищу: “Немецкие рабочие довольно-таки безнадежны, поскольку буржуазия начинала их, как еврейки начинают щуку фаршем, своими взглядами и предрассудками” (Сосновский 1926: 37). Аналогичная судьба могла постигнуть советских трудящихся при размывании их профессиональной идентичности: “Мы знаем, что рабочий, ушедший с завода, чтобы учиться искусству, как кур во щи, попадает в среду, которая стремится его поглотить, выхолостить его классовые особенности” (Рабочие о литературе... 1926: 116). Представляется не случайным, что в этой цитате поговорка приводится именно в таком варианте (“во щи”, а не “в ощи”): в роли “пищи” выступает и сам пролетарий, и соблазненное его занятие. Это блюдо, частью которого становится незадачливый гурман, желая его отведать.

Стремясь соотнести культурное “пищеварение” рабочих с производственным процессом, публицисты подчеркивали необходимость формирования по отношению к досугу их активной позиции, которую можно было бы противопоставить буржуазному “потребительству”. По заявлению ЛЕФовца Сергея Третьякова, “нет ничего хуже, как глядеть вокруг себя глазами потребителя” (Фоменко 2007: 193). Труд на предприятии должен был стать парадигмой для реорганизации всех сфер жизни.

Однако, как уже было сказано выше, подобные установки невозможно было претворить в жизнь при господствовавших в 1920-е гг. взглядах на образование. Значимым представляется также разграничение формы и содержания, которые уподобляются возбуждающей приправе и питательной основе, а также желание преподнести рабочим чистую суть произведений. В этом намерении отражается базовая тенденция “культур, ориентированных на сообщение”, согласно типологии Ю.М. Лотмана. Речь идет о приоритете новых сведений, полученных извне, над рефлексивной переработкой уже известного; о преобладающем интересе к содержанию, а не к способам кодирования информации. По мысли Лотмана, “оборотной стороной этого типа культуры является резкое разделение общества на передающих и принимающих, возникновение психологической установки на получение истины в качестве готового сообщения о чужом умственном усилии, рост социальной пассивности тех, кто находится в позиции получателей сообщения” (Лотман 2000: 177). “Тенденция к умственному потребительству”, о которой говорит исследователь, является прямой противоположностью того, что объявляли ориентиром левые интеллектуалы. Однако, по всей видимости, именно

такой способ отношения к “культурной пище” сознательно формировался в 1920-е гг. у основной массы советских трудящихся. Характерна следующая рекомендация рабочего: “Какая бы сладкая и вкусная ни была пища, но если принимать ее каждый день, она станет горькой: если будет концерт за концертом, лекция за лекцией, – это надоест. Надо так проводить работу, чтобы она была разнообразна, как меню” (Культурбота... 1929: 20). Автор отзыва буквально требует перенести на сцену рабочего клуба или помещения, отведенного для культурной программы на предприятии, варьете (дословно “разнообразии”) – оплот “нэпманского” вкуса, на который единодушно ополчались критики 1920-х гг.

Внутренняя противоречивость деклараций и фактических мер в области культурной политики в 1920-е гг. предопределяла невозможность полноценной реализации ее задач. Однако отдельные начинания сами по себе можно назвать успешными. Так, проведение культурботы на предприятиях в обеденный перерыв вызвало у трудящихся живой отклик с преобладанием положительных отзывов. Составители брошюры, подводящей предварительные итоги этого нововведения, отмечали, что “в большинстве случаев против культурботы в обед высказывались пожилые рабочие и работницы” (Культурбота... 1929: 4). Подобный комментарий, как представляется, призван был косвенным образом подчеркнуть современный характер, прогрессивность данной инициативы, так как подразумевалось, что молодежь ее поддержала. В то же время здесь проявляется еще одна линия разлома внутри гипотетической общности пролетариев – конфликт поколений.

**Преодоление повседневноности в метафоре.** Подводя итоги, можно констатировать, что наиболее очевидный успех риторики, связанной с использованием пищеварительных метафор, и сопровождаемых ею начинаний заключался в возможности выйти за рамки бытовых нужд. С 1927 г. в СССР развивался товарный кризис, вскоре повлекший за собой введение карточной системы и возникновение угрозы голода. Представляется неслучайным, что именно в это время на предприятиях разворачивается культурбота в обеденный перерыв. Максимально ускорить прием пищи и отвлечь от него внимание трудящихся было особенно важно в период, когда “по всей стране устанавливается однообразный и скудный рацион: черный хлеб да постные капустные щи” (Осокина 2008: 56). Обеспокоенность и даже возмущение продовольственной ситуацией звучат и в отзывах рабочих по поводу культурно-массовых мероприятий в обед. Однако характер рекомендаций, связанных с этой проблемой, заслуживает особого внимания: “Нужно [...] строить свою работу так, чтобы разъяснить рабочему, почему членские взносы повышены, почему не хватает муки и т.д.”; “По-моему, в обеденный перерыв хорошо заняться читкой газет. [...] Рабочего интересует сейчас вопрос – почему в нашей крестьянской стране нет хлеба. Нужно пригласить для читки таких товарищей, которые могли бы все это рабочему объяснить” (Культурбота... 1929: 18, 29). Акцент здесь переносится с реального голода на информационный, и требования трудящихся сводятся не к разрешению, но к разъяснению наболевших вопросов. В полном соответствии с утвердившимися понятиями о пролетарской “насущной пище”, в свидетельствах, оставленных ими самими, рабочие буквально предстают алкающими слова.

Возможность до определенной степени заменить хлеб разговорами о нем возникла в результате последовательного вытеснения в языке, использовавшемся для конструирования пролетарской идентичности, реальной пищи пищевой метафорической. Первоначально советский антропологический проект предполагал физическое совершенствование человека на основе улучшения питания. Еще в середине 1920-х гг. богатый мясом рацион составлял важную характеристику советского пролетария для различных авторов. Эта мысль сошла на нет в условиях продовольственного кризиса конца десятилетия. Одновременно с этим множилось описание культуры как пищи, которую предстояло усвоить рабочим.

Как представляется, “дематериализация” еды, заключенная в метафорике культурной пищи, была обусловлена, наряду с экономическими предпосылками, поиском более эффективных оснований для конструирования пролетарской общности и необходимостью отмежеваться от подчеркнуто телесной фигуры “буржуа”. Потребность эта была особенно настоятельна в силу того, что образ Другого в данном случае создавался на основе присущих самим трудящимся черт, которые следовало искоренить. Культурная специфика пролетариата предположительно заключалась в сближении его пищевых стратегий с работой механизма, т.е. с производственным процессом. Такой подход, однако, не подкреплялся формированием достаточно сложных способов отношения к вербальному или визуальному тексту, которые позволяли бы “переписывать” его в рамках читательского или зрительского опыта, и большинство рабочих оставались пассивными, консервативными в своих вкусах “едоками”.

Тем не менее, трудящиеся косвенным образом участвовали в выработке культурной политики страны в 1920-е гг. Различные опросы, имевшие целью выявление интересов и предпочтений пролетариата, способствовали складыванию у респондентов некоторых форм групповой идентичности. По мере того как предназначаемая рабочим пища утрачивала материальность, общность пролетариев, напротив, приобретала все более реальные контуры, преодолевая половозрастные различия и границы отдельных предприятий.

Достичь подобного единства позволило переосмысление идеи производства, вокруг которой выстраивалась пролетарская идентичность. Как показывает пример культуры на предприятиях, первостепенное значение с конца 1920-х гг. стало даваться труду по усвоению духовной пищи. Описываемое таким образом культурное потребление соединяло в себе черты символического производства и метафорического питания. Реальная выработка продукции могла при этом отходить на второй план, как и качество обедов в заводских столовых.

Роль фактической еды акцентировалась в противовес другим материальным благам, таким как одежда или косметика. Символическое значение этих последних в качестве инструментов моделирования внешности лишь подчеркивало их избыточность по сравнению с насущной необходимостью питания. Значение базовой потребности сохранялось в идее культурной пищи, которая в то же время возносилась над плоскостью материального, задавая духовную вертикаль.

Не менее парадоксальной и столь же важной представляется еще одна особенность пищевой метафоры. Культурное потребление пролетарского коллективного субъекта уподоблялось работе гигантского механизма, однако выбор правильной пищи осуществлялся инстинктивно. Техницистские и органицистские метафоры, отсылающие соответственно к идеям “современного” и “естественного”, в соединении позволяли легитимировать как изменения, так и преемственность социокультурных институтов. Последнюю, вероятно, можно считать преобладающей тенденцией, так как уподобление культуры пище само по себе есть попытка превращения ее в “природу”.

Утверждая естественность происходящего, метафорика культурной пищи сглаживала драматизм собственных импликаций и позволяла адаптироваться к широкому спектру обстоятельств. В этом смысле едва ли стоит удивляться легкости, с которой рабочие приняли этот язык описания в качестве основы для самоидентификации.

### *Литература*

- Барт* 2000 – *Барт Р.* Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000.  
*Блинков* 1924 – *Блинков И.* Смьчка с массой (В порядке предложения) // *Рабочий зритель*. М., 1924. № 10.  
*Булгакова* 2005 – *Булгакова О.* Фабрика жестов. М.: Новое лит. обозрение, 2005.  
*Городецкий* 1923 – *Городецкий С.* Рабочий зритель // *Рабочий зритель*. М., 1923. № 1.  
*Диамант* 1924 – *Диамант Х.* Письма о театре // *Рабочий зритель*. М., 1924. № 2.

- Кирсанова* 2002 – *Кирсанова Р.М.* Русский костюм и быт XVIII–XIX вв. М.: Слово/Slovo, 2002.
- Культработа... 1929 – Культработа в обеденный перерыв: Материалы обследования и учетных совещаний. М.: Труд и книга, 1929.
- Лебедева* 2007 – *Лебедева В.Г.* Судьбы массовой культуры в России: Вторая половина XIX – первая треть XX в. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007.
- Лотман* 2000 – *Лотман Ю.М.* Автокоммуникация: “Я” и “Другой” как адресаты (О двух моделях коммуникации в системе культуры) // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2000.
- Осокина* 2008 – *Осокина Е.А.* За фасадом “сталинского изобилия”: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. М.: РОССПЭН, 2008.
- Рабочие о литературе... 1926 – Рабочие о литературе, театре и музыке. Л.: Прибой, 1926.
- Рабочий зритель 1924 – Рабочий зритель. М., 1924. № 4.
- Рудин* 1924 – *Рудин В.* “Стенька Разин” Каменского в Театре Революции // Рабочий зритель. М., 1924. № 6.
- Смушкова* 1926 – *Смушкова М.А.* Первые итоги изучения читателя. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926.
- Сосновский* 1926 – *Сосновский Л.* О культуре и мешанстве. Л.: Прибой, 1926.
- Станиславский* 1983 – *Станиславский К.С.* Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1983.
- Тугендхольд* 1987 – *Тугендхольд Я.А.* Живопись революционного десятилетия (1918–1927) // Тугендхольд Я.А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М.: Советский художник, 1987.
- Фоменко* 2007 – *Фоменко А.* Монтаж, фактография, эпос: Производственное движение и фотография. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007.
- Хлебцевич* 1927 – *Хлебцевич Е.И.* Изучение читательских интересов (массовый читатель). М.; Л.: Гос. изд-во, 1927.
- Шафир* 1927 – *Шафир Я.* Очерки психологии читателя. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927.

## **К.О. Gusarova. The “Vital Food of Proletariat”: Constructing the Proletarian Identity in the USSR of the 1920s**

*Keywords:* proletariat culture, group identity, discursive production of community, food metaphors

The article traces the changes of notions of food as a basis for the proletarian identity through the 1920s. The “working class” is considered as an imagined community, which at the time was still to be constructed. The real food diets were less effective as a unifying basis than food metaphors describing cultural consumption. The creation of the sense of community was performed essentially through the juxtaposition of “ours” and “others”; and the metaphorical language allowed for a more precise drawing of the borderlines and smoothing out of potential internal contradictions. The substitution of the “cultural” for the real food was taking place not only in print but also in the everyday life, which is examined through the case study of cultural work during the lunch break.